

ОТ ТОР ЖЕ НИ Е

ЭЛИЗАБЕТ
ОСБРИНК

Три женщины,
три города,
одна/семья



Элисабет Осбринк

Отторжение

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67743506

Э. Осбринк. Отторжение: Фантом Пресс; Москва; 2022

ISBN 978-5-86471-898-8

Аннотация

Многослойный автобиографический роман о трех женщинах, трех городах и одной семье. Рассказчица – писательница, решившая однажды подыскать определение той отторгнутости, которая преследовала ее на протяжении всей жизни и которую она давно приняла как норму. Рассказывая историю Риты, Салли и Катрин, она прослеживает, как секреты, ложь и табу переходят от одного поколения семьи к другому. Погружаясь в жизнь женщин предыдущих поколений в своей семье, Элисабет Осбринк пытается докопаться до корней своей отчужденности от людей, понять, почему и на нее давит тот же странный груз, что мешал жить и ее родным. “Отторжение” – затягивающий в себя роман о любви, эмиграции и человечности, которые оказались в тени ненависти и зла. И, как отмечает рассказчица: “Это вымысел, а потому все, что тут сказано, – правда”.

Содержание

Рита	10
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Элизабет Осбринк

Отторжение

Elisabeth Åsbrink
Övergivnheten

© 2020 Elisabeth Åsbrink

© Сергей Штерн, перевод, 2021

© Андрей Бондаренко, оформление, 2021

© “Фантом Пресс”, издание, 2022

* * *

Готовность к бегству – с ней я родилась. Еще в нежном возрасте, даже не понимая, что случилось, уже знала: может случиться вновь.

Говорят, в Гётеборге стоял солнечный апрельский день. Отец увидел меня и сразу дал венгерское имя: Кати. Но, по логике моей семьи, я получила другое, звучащее по-английски имя: Кэтрин, которое потом стало звучать по-французски: Катрин.

Я появилась на свет, и все сразу заулыбались... хотелось бы так думать. Семья моя состояла из отца, матери и двух ее дочерей от первого брака, на десять лет старше меня. Я

пищала сутками – от голода: мать при беременности сильно пополнила и решила соблюдать диету. Кончилось тем, что у нее пропало молоко, и меня кормили разными детскими смесями из бутылочки.

Первые шесть лет моей жизни – четырехкомнатная квартира в доме миллионной¹ программы в Каллебеке, потом очень похожий дом в Ханинге и, наконец, новенький таунхаус в Хегерстене в Стокгольме. Наши географические перемещения происходили параллельно с карьерой отца: вначале студент-медик, потом врач-ординатор с непоколебимым стремлением стать специалистом. Впрочем, все эти обрывки информации – адреса, этажи, планировка – никакого значения не имеют, они не могут поведать о жизни семьи ровным счетом ничего. Самым главным и определяющим в нашей жизни было одиночество. Одиночество стояло между нами, как тугая стена сжатого воздуха, шаги отдавались пустым мраморным эхом, а сердца колотились так, как могут колотиться только разбитые сердца.

Но я поняла это много позже.

Хотя еще до того, как одиночество начало расти, до того, как оно, словно медленно раздувающийся пузырь, стало занимать все больше места, прижимать нас к стенам, – задолго, задолго до этого я начала понимать, из чего оно состоит.

¹ В связи с экономическим бумом и наплывом рабочей силы в 1950-е годы в Швеции была принята так называемая миллионная программа строительства жилья; строили типовые, но очень качественные дома (похожая программа была принята в СССР Хрущевым). – *Здесь и далее примеч. перев.*

Отторжение изнутри.

Именно так я хотела назвать книгу: “Одиночество”. Это вымысел, а потому все, что тут сказано, – правда. Можно дать книге подзаголовок “Семейная история” или, скажем, “Документальная проза”. А можно назвать еще проще: *Книга*. Намерение у меня было вот какое: раз и навсегда назвать по имени призрак, преследующий меня всю жизнь, сколько я себя помню. Дать ему определение. Кто-то из философов сказал: назвать – значит, понять. Далеко не сразу я сообразила: “Одиночество” не подходит. Одиночество – симптом, а не сама болезнь. Симптом и следствие. Поэтому название книги пришлось изменить.

Центром экспансии моего одиночества была моя мама, Салли. Я ее обожала. И отец ее обожал. И она заслуживала обожания – с ее переменчивым, тут же отражающимся на лице настроением, с ее прекрасными серо-зелеными глазами и темными волосами. Она читала все подряд – газеты, книги, обсуждала политические дразги, обожала оперу, без всякого стеснения хохотала, если что-то ей показалось смешным. Она входила в комнату и сразу становилась центром внимания. Мои старшие сестры, а уж я тем более, всегда были в ее тени. Но это, думаю, нормально.

Одиночество матери было хорошо замаскировано. На

первый взгляд — какое там одиночество, наоборот. Блестящая светская женщина, преподавательница английского, полно знакомых, которые, как мне казалось, все свободное время проводят на вечеринках и на танцах. И только мы, те, кто с ней жил, кто знал ее близко, понимали: весь этот светский лоск — всего лишь скорлупа, оболочка, тонкая, как слой карминного лака на ее ногтях. А под этой оболочкой — готовые в любую минуту прорваться наружу тревога и даже злость. Тревога — о чем? Злость — на кого?

Понять собственное одиночество... Сначала надо понять одиночество матери.

Одиночество матери... а как быть с одиночеством *ее* матери, моей бабушки Риты?

А кто был мой дед, которого я никогда не видела?

Постоянно возвращающиеся картины детства. Думаю, именно такие картинки и называются детской памятью. Мама испекла на десерт *кух*² с порошковым ванильным соусом. Порошок этот с одуряюще сладким запахом продавался в больших жестяных банках. Я очень любила ванильный соус, но сочетание цветов на банке — ярко-синий, красный и пронзительно-желтый — вызывало у меня страх и отвращение.

² Традиционный немецкий сладкий пирог из дрожжевого теста.

Ванильный порошок взбивают мутовкой в кипящем молоке, потом дают остыть и подают со шматком пенки толщиной не меньше сантиметра. Пенка лежит на сливочно-желтом соусе, как сургучная печать, – она считается особым лакомством. И тут же начинается – всем хочется получить эту пенку, маме, сестрам и мне. Но справедливость прежде всего. Кто-то идет в кухню за ножом. Дрожащую, как желе, ванильную пенку разрезают на равные части. Сестры начинают обвинять друг друга и спорить – кому больше досталось. Крики, слезы... Мама сердится, повышает голос. Банка из-под ванильного порошка с ее нелепо-кричащей, агрессивной раскраской тоже выглядит как вспышка ярости. Только когда мне исполнилось десять лет, я внезапно осознала: терпеть не могу молочную пенку.

Книгу я назвала “Отторжение”.

Миры рушатся, целостность распадается... какие, ей-богу, неопределенные утверждения. Обобщены настолько, что смысл ускользает. Я это сознаю. Писатель должен быть точным. И все же я выбираю эти банальные максимы как исходный пункт. Именно так: миры рушатся, целостность распадается. Причина одна: катастрофические формулы отражают истину. Будни взрываются, как кластерная бомба, а осколки летят через поколения. Для них нет препятствий. Крохотный городок в Испании, перенаселенный город в Османской

империи, съемная квартира в Будапеште, тихое предместье Лондона, семья из пяти человек и кошки в Стокгольме. В конце концов эти острые вспышки проложили дорогу и ко мне – и я родилась с готовностью к побегу.

Оттого-то и пишу.

Рита

Лондон, декабрь 1949 года

Декабрьским утром, а именно 1 декабря 1949 года, Рита поняла: она ошиблась. И ей это не понравилось. Мало того: все изменилось, хотя ничто не стало другим. И это ей не понравилось еще больше.

Даже вставать не хотела, но пришлось: ночь ее предала. Теплый воздух, мазок рассвета в щелке портьеры. Если не открывать глаза, можно попробовать удержать дремоту. Важно, чтобы ночь осталась с ней, внутри. Ей хотелось быть рабыней ночи – и владеть ею, как грудной ребенок владеет матерью. Именно владеет, хотя жизнь его зависит только от нее. Дитя – главный и единственный собственник матери. Рите тоже захотелось стать грудным ребенком матери-ночи, спрятаться под ее защиту, погрузиться и исчезнуть – но ничего не вышло. Как и прошлым утром, и позапрошлым. Нет в мире такой силы, которая могла бы удержать ночь. Рита прекрасно это понимала, хотя так и продолжала лежать с закрытыми глазами в своей постели, в домике на Грэнж-парк-авеню, 37, на северной окраине Лондона.

Проехала машина молочника, и в полусне Рита привычно улыбнулась уютному звяканию бутылок.

Сколько времени уходит на пробуждение? Может, полсе-

кунды, может, две или три, но ощущается как многокилометровый подъем. Гаснет калейдоскоп снов. Яркий бисер, формирующий предательски симметричные картины, не выдерживает конкуренции с серой монотонностью наступающего утра. Острые цветные стеклышки блекнут, озадаченные сменной освещенности, оплывают, растворяются, уступают место отсчету времени и утренней жизни. Пространство ночи совсем не похоже на пространство дня. В нем нет логики, чьи-то фигуры сменяют друг друга, высовываются из крипт прожитых лет, корчат рожи, подают абсурдные и многозначительные реплики и устремляются в абсурдную и многозначительную неизвестность.

Во сне Рита часто стоит у окна и смотрит на пшеничное поле. Или на яблони в саду, обремененные тяжелыми, стремящимися к совершенству плодами. Изобилие за окном почему-то утешает, хотя кажется недоступным... а может, именно поэтому. Иногда ее навещает утонувший брат Эмиль, будто бедняга не знает, что уже сорок лет как мертв. Он выглядит очень грустным, даже когда улыбается. И она улыбается, тоже грустно. Брат и сестра. Стоят друг напротив друга и невесело улыбаются.

Риту завораживает необъяснимость ночи. Она даже среди дня иногда тоскует по густым, светло-зеленым, еще не успевшим налиться желтизной зрелости посевам, а когда ложится, с нетерпением ждет этого сна, надеется услышать ласковый шепоток пшеничного поля.

Глаза все еще закрыты, но она уже знает: муж лежит рядом. По дыханию – он еще спит. Днем люди так не дышат. Долгий спокойный вдох, короткий облегченный выдох. Сны его совсем другие, населены другими образами, инструментированы другими звуками и освещены другим солнцем. Он лежит в двух дециметрах от нее, но расстояние это уже давно неизмеримо. Не в сантиметрах или метрах дело. Оно ни мало, ни велико, это расстояние. Именно неизмеримо – его невозможно измерить. Иногда она думает: мы настолько близко, что выпадаем из поля зрения друг друга.

Рита не огорчается – напротив, это ее устраивает.

Неохотно разжимает кулаки, и ночь ускользает. Садится, надевает очки. И первым делом убеждается, что мир точно такой, каким она оставила его накануне вечером. Трюмо в углу, щетка для волос в ящичке из прозрачного стекла, где она хранит еще и ключ от настенных часов. Там же лежит одна-единственная притворяющаяся розовой жемчужина из порванного ожерелья. На крышке ящичка рельефное изображение скачущей лошади, а под лошадкой углубление, словно специально сделанное – можно пристроить сигарету, пока причесываешься. Платяной шкаф у одной стены, комод с шестью выдвижными ящиками – у другой. Ночные тумбочки по обе стороны кровати, вода в стаканах выпита ровно наполовину. Это всегда ее удивляло: и ее стакан, и его – ровно наполовину.

Утро как утро, такое же, как вчера. Стандартное утро.

Обычно это ее вполне устраивает. Стандартное утро обещает стандартный, устойчивый день.

Сунула ноги в войлочные тапки, накинула халат, подошла к окну и отодвинула тяжелую, подбитую шелком гардину. Тучи лежат чуть не на земле, отчего контуры домов красного кирпича кажутся нечеткими, будто запылились. Неплохо бы протереть скучный пейзаж влажной тряпкой. А так – всё как всегда. Дом напротив даже в тумане выглядит заносчиво – каменная лестница, снежно-белые желоба и водосточные трубы. Хозяин накопил наконец денег на машину и теперь паркует сверкающий “моррис майнор” у самой калитки: пусть никто не сомневается, кому принадлежит это чудо техники. Он и сейчас там стоит, но не сверкает, лак покрыт матовой пылью измороси.

Напомним: декабрь 1949 года, Рита стоит у окна спальни на втором этаже и смотрит на разделенные узкой полоской кустарника дома, каждый на две семьи. В тумане граница между пятнами зелени и терракотой кирпича размыта, как на неумелой акварели.

Нет. Ошиблась. Новое утро хоть и выглядит как вчерашнее, позавчерашнее, позапозавчерашнее, но это только кажется.

“Теперь ты довольна?” – спросил он по пути в ресторан “Старая вишня”.

Рита понимала: он не хочет затевать очередную ссору. Судорога злости свела рот, и она не смогла ответить. Молча

кивнула – не стоит портить день. Все же сделали, что хотели. Кивнула, но в глаза не посмотрела.

Но все же, все же... Время было заказано, он позвонил брату, сказал, чтобы в конторе его не ждали. Оделись парадно и проехали три остановки до Энфилда на автобусе.

Никак не удавалось осознать. Даже не осознать, а переварить. И вовсе не потому, что, как часто говорят, *этот день был самым счастливым днем жизни*, и не потому, что произошло такое фантастически значительное событие. Наоборот: *значительное событие* оказалось банальным и прозаическим, наименее драматичным из всего, что может произойти с двумя людьми. Им вручили конверт со свидетельством, скрепленным печатью местного муниципалитета. Плотный конверт так и лежит в прихожей поверх пачки неоплаченных счетов. Они его даже не распечатали.

“А ты довольна?” – задала Рита себе тот же вопрос, вглядываясь в постоянно меняющиеся очертания цветные пятна. Если прищуриться, смесь кирпично-красного, зимней зелени и ключев опустившихся на землю облаков похожа на палитру художника.

– Ты довольна? – еще раз спросила она, на этот раз вслух. Он наверняка все еще спит, а спит он крепко.

Туман внезапно и быстро рассеялся, прямо на глазах. Облакам надоело возиться с пепельным ластиком, стирать грубые и угловатые черты жизни – снялись с насиженного места и скрылись в небе. А может, и не в небе, а в каком-то

неизвестном тайнике, где обычно прячутся, дожидаясь своего часа, облака.

Нельзя сказать, чтобы Рита так уж предвкушала новый день, но он-то все равно наступил. Она вовсе не потирала руки, вспоминая набор ждущих ее домашних дел, но их-то все равно придется переделать в определенном порядке. С этим Рита тоже давно смирилась. Собственно, это однообразие и внушало ей спокойную радость. Радость стоящего на перроне пассажира, уверенного: поезд придет вовремя. Конечно, радость. Не брызжущая пиротехникой эйфория, не ливень конфетти – “война-наконец-закончилась”, – а спокойное, управляемое, но все же удивление – радостное удивление надежности миропорядка. Нельзя забывать: миропорядок надежен и устойчив. Жизнь много раз давала поводы для сомнений, и именно поэтому ей было радостно. Шампанское и торты с глазурью необязательны. И слава богу.

С дуба напротив, медленно поворачиваясь в воздухе, упало несколько листьев. Рита проследила глазами за полетом. То, что случилось вчера, должно остаться тайной. Такое требование предъявляет стыд. И он – пусть поклянется, что никогда и нигде не проронит ни слова. Ни один человек не должен знать, потому что станут пожимать плечами: *решились наконец-то, интересно, что они раньше думали*.

Даже свадьба может быть не такой, как ждешь.

Рита спустилась по лестнице, прислушиваясь к знакомому поскрипыванию ступенек под винно-красной дорожкой,

и прошла в кухню. Кот уже сидит наизготовку у двери черного хода и укоризненно смотрит на хозяйку зелеными неподвижными глазами. Она приоткрыла дверь – кот облегченно мяукнул, промелькнул, как сполох рыжего пламени, просочился в щель и исчез.

Извини, проспала немного.

Закурила сигарету, вышла из кухни и пошла взять газеты и молоко. Входную дверь оставила открытой. Волна холодного воздуха обдала лицо колючими брызгами и хлынула в дом, разбавляя и освежая застоявшийся, отяжелевший от дыхания трех спящих людей воздух. Постояла немного. Чистое, прозрачно светлеющее небо изготовилось исполнять главное, а может, и единственное условие своего существования: дать птицам возможность полета.

Рита окинула глазом соседские участки. Искусственные цветы в больших глиняных вазонах, недавно вошедшие в моду разноцветные садовые гномики, тщательно сформированные, постриженные шары и пирамиды самшита. Посмотрела на свой палисадник. Лепестки гортензий стали тонкими, как бумага, но, вопреки зиме, опадать не хотели. Ни у кого нет таких гортензий, как у нее. Особенно голубые – она подкармливает их алюминиевыми квасцами. Да, еще месяц назад они были голубыми. Были и лиловые, и темно-, и светло-розовые, а теперь все поблекли, как отголоски сна. Летом разрастаются так, что оставляют белые царапины на руках прохожих. Иногда жалуется кто-то из соседей. Рита выслу-

шивает, кивает, но у нее даже мысли не возникает подойти к цветам с секатором.

Она упорно пытается отыскать хоть что-то, что отличало бы это знаменательное утро от других, – и не находит. Слизняки на низкой каменной ограде, желтая роза у калитки, чудом сохранившая несколько нераспустившихся бутонов. В дождевой бочке, раскинув прозрачные крылышки, дрейфуют узкие штрихи дохлых жучков-водомеров. Почему-то наводят на мысль о смертности всего живого.

И я тоже смертна.

Но я же богата! Вот мои дубы замерли в ожидании лета, молоко оставляет белые следы на стекле, в кустах пересвистываются мои горихвостки. У меня в саду растут пышные гортензии. *Der Herr ist mein Hird, mir wird nichts mangeln...*³ У меня есть все, кроме чего-то... сама не знаю чего.

Проследила, как поднимаются и тают колеблющиеся восьмерки сигаретного дыма. А этот мрак в душе... может, это тоже счастье? На мгновение Рита решила – почему бы нет? Никто еще не составил реестр признаков счастья. Но тут же отвергла такое предположение – оно показалось ей неправильным и даже оскорбительным.

Она прислушалась. Теперь и он встал. *Муж*. Забулькала вода в сливной трубе. Рита представила, как он заполняет умывальник холодной водой, потом открывает кран с горячей и добавляет ровно столько же, отсчитывая вслух секун-

³ Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться (*нем.*, Пс. 22:1).

ды. Моется мочалкой, с головы до ног. Ритуал, обычай... обычность обычаев, будничность будней. Уже двадцать лет она слышит одну и ту же фугу утренних звуков.

Сигарета погасла. Надо бы заняться обычными утренними делами, но она задержалась у открытой двери.

Видела бы меня мать... Видела бы мою калитку, мой сад, мою наружную дверь, мою прихожую с телефонным столиком, мою гостиную, мои ковровые покрытия, мои три спальни и ванную комнату. Видела бы она электрический камин с притворяющимися настоящими тлеющими головешками, видела бы пианино, на котором занимаются девочки. Видела бы вогнутое зеркало в позолоченной раме в прихожей – мир в нем кажется больше и круглее, чем в действительности.

Увидела бы – и сразу поняла: ничто не напрасно. Грэнж-парк-авеню, 37, – скольким пришлось пожертвовать, сколько соблазнов преодолеть. Конечный пункт всех желаний и стремлений. А вот это странно. Стремления конечно-го пункта не имеют. Неизвестно, как у других, но у нее точно не имеют. Сколько она в себе копалась, пока не поняла: *я состою из стремлений и желаний*. Вот и сейчас. Скрипнуло зубами чувство долга: *надо бы пойти приготовить завтрак...* Успею. Взяла веерные грабли, начала собирать сухие листья под гортензиями и улыбнулась – пять минут, не больше. Нарушение ритуала, но желание взяло верх. Долг – основа ее существования, что ж... сегодня она показала ему нос. Почему бы не украсть чуть-чуть у зимнего рассвета, по-

чему бы не побыть пять минут Робин Гудом? К тому же ей очень нравится податливость земли, шелест листьев, быстро растущий влажный ворох – тело занято механической, монотонной работой, а мысли текут легко и свободно.

Мать давно умерла, а Рита думает о ней с возрастающей с каждым годом нежностью. Хотя прекрасно знает: мать ни за что не смирилась бы с ее тайной, *с ее позором*. Ты – настоящая дочь своего отца, сказала бы Эмилия презрительно, а в ее устах это был самый суровый приговор; никто из ее восьми детей на отца похож не был. Даже теперь Рита слышит ее упреки, сжимает зубы и иногда еле удерживает стон стыда – словно бы и не похоронила этот стыд много лет назад. Похоронила и годами забрасывала могилу. В ушах по-прежнему голос матери, ее сильный немецкий акцент, особенно заметный в минуты раздражения. И слова, внушительные и неотвязные, как звон церковных колоколов: грех рожден из зла, а последствия страшны – вечная разлука с Господом.

Все из-за твоего отца.

Листья собраны. Осталось, конечно, несколько штук – не ползать же за ними на коленях. Хорошо бы постоять еще пару минут. Послушать, как на подстриженных дубах вдоль тротуара пересвистываются снегири, самой превратиться в дерево, стать такой же неподвижной и бессловесной, выждать, пока стихнут упреки матери.

Но уже нет времени. Приготовить чай, поджарить хлеб, собрать Ивонн в школу.

Да посмотри же, мама, посмотри вокруг!

Я здесь живу. Это моя жизнь. Мой дом ничем не отличается от других, ничто не отличает меня от других женщин, которые именно сейчас, в халатах и войлочных тапках, ставят чайники и готовят завтрак для семьи. У меня есть рыжий кот, он сладко потягивается, пока я мою посуду. Это не чьи-то, а мои руки открывают дверцу буфета, достают жестяную банку с мармеладом и режут хлеб – тонко, чтобы хватило на неделю. Это моя солнечно-желтая кухня. Скоро спустится по лестнице мой муж, а моя дочь, как всегда, до последнего валяется в постели, и мне придется ее будить, вытащить из-под ног бутылку с водой – с вечера была теплой, а теперь холодная и скользкая, как ящерица. Но Ивонн все равно не проснется, пока я не стяну с нее одеяло. Тогда она замерзнет и откроет глаза.

Это моя жизнь.

Так все и происходит. Ее муж спускается по лестнице, первым делом хватается за “Ньюз Кроникл” и погружается в чтение. Пьет свой чай, а Рита соскребает с хлеба подгоревшие кусочки. Черные крошки сыплются в раковину. Диктор по радио бубнит новости. Она поднимается в спальню будить дочь. *Все как и быть должно.* Такова и есть ее жизнь – ежедневные ритуалы, раз и навсегда заведенный порядок. Небрежно утепленный, но добротный дом в Лондоне – ее

царство.

Тогда почему же ее грызут сомнения?

Через час дом опустел. Она напоила Ивонн чаем и проводила в школу. А он, накануне обретенный муж, позавтракал, хмыкнул несколько раз, пока читал, – тоже своего рода ритуал – надел шляпу, чмокнул ее в щеку, закурил и пошел к метро.

Увидимся вечером, дорогая.

Что ж... его ждут двенадцать часов работы в городе, ее – ровно столько же, двенадцать часов, работы дома. Работы и одиночества.

Щели между каменными плитками у крыльца заросли травой. Рита принесла спицу и начала выковыривать одуванчики, стараясь подцепить корни. Эта работа ей нравится – не надо ни о чем думать.

Красиво поседевший мистер Харрис вышел на первую утреннюю прогулку со своим белым терьером. *Good morning.* Прокатил на велосипеде незнакомец с портфелем на багажнике. *Good morning.* А вот идет миссис Брукс, голова повязана шалью. Глуповата эта миссис Брукс, ничего умного Рита пока от нее не слышала. К тому же ее дочка обозвала Ивонн толстухой.

Кивнула в ответ на приветствие и пошла обрезать засохшие листья с розового куста. Миссис Брукс явно хотела поговорить о погоде или, что еще вероятнее, пожаловаться на

скудость рациона, но Рита сделала вид, что не заметила. Не сегодня. Миссис Брукс замедлила было шаг, изготовилась перейти улицу, но поняла: Рита не расположена поболтать у калитки. Почти незаметно изменила направление и двинулась дальше с застывшей улыбкой, преувеличенно бодро помахивая хозяйственной сумкой, будто спешит куда-то.

*Good riddance*⁴. Твоя улыбочка похожа на пенку на кипяченом молоке.

Обычно в это время она сидит в кухне и размышляет над списком покупок. Но сегодня жизнь идет медленно и неритмично. Даже шаги другие, будто она, жизнь, избегает наступать на вчерашние и позавчерашние следы, будто старается освободиться от свинцового облака земного притяжения.

Определенно – этот день не такой, как другие.

Опять взяла грабли, собрала весь мусор в кучу, затолкала в корзину и отнесла на задний двор. Внезапно дохнул знобкий зимний ветерок, и опять все стихло. Деревья не шелхнутся, словно выжидают. А интересно, знают ли листья, что вот-вот упадут?

Решила, не откладывая, сжечь мусор. Сама мысль о живом пламени словно сняла часть груза с души. Смотреть, как поднимаются и медленно, будто снег, опускаются мучнистые мотыльки пепла, как съеживаются и обугливаются листья, любоваться на малиновый скелет время от времени вспыхивающих сучьев, вдыхать дымок, придающий сладкую

⁴ Скатертью дорога (англ.).

печаль безжизненному декабрьскому воздуху... но сначала надо разжечь огонь, а это не так просто при такой влажности. Выбрала самые сухие сучочки, принесла обрывок старой “Ньюз Кроникл”. Не сразу, со второй или третьей спички попытка удастся – и первым делом высоко поднимается столб густого то ли дыма, то ли пара.

Привет высшим силам! Никаких посредников, общение куда недвусмысленнее воскресной проповеди. Только я, сигнальный дым и строгий Господь Бог, которому страстно молилась мать.

Огонь почему-то напомнил про струящуюся в ее сосудах кровь. Как она бежит, подогретая неведомой силой до тридцати семи градусов, как стремится в легкие, как жадно всасывает смешанный с горьковатым дымом кислород. Внезапно, как вспышка молнии, пришло ощущение жизни – жизни, которую обычно не замечаешь. Даже не ощущение, а радость. Радость жизни. Вот она, Рита, – а вот прохладный декабрьский день, и вместе они составляют единое целое. Это она, Рита, стоит в тяжелых сапогах посреди двора, и ничто не может разлучить ее с блеклым зимним небом. Конечно, скоро все изменится, небо потемнеет, она состарится... И она, и декабрь станут чем-то другим – но не сейчас. Еще не время. А сейчас горит, потрескивая, костер, кровь струится по жилам, летит к небесам пахнущая дымом благодарность Создателю. И пусть снегири, и улитки, и прицепившийся к ограде

куст ежевики, и пробирающиеся из-под земли заморозки, и беседующие с облаками деревья, и спящие в подземных убежищах двухвостки и шмелиные матки – пусть всё, из чего состоит декабрьский день, знает: она есть. Она, Рита Гертруда, существует.

Листьев немного, сгорели очень быстро. Затоптала тлеющую золу и для надежности залила дождевой водой из бочки. Послушала змеиное шипение и вернулась в дом. В прихожей сняла сапоги, прошла в кухню, налила четверть стакана “Знаменитой куропатки”⁵, закурила и присела к столу. Может, если следовать ритуалу, утро вернется в привычное русло, станет таким же, как всегда? Взяла газету, проглядела заголовки (запрещен частный импорт сахара, желе и сухофруктов из Ирландии). Реклама коричневого соуса “Эйч Пи” (придает незабываемый вкус любому блюду). Прочитала ироническую заметку, как четверо мужчин в студии Би-би-си обсуждали, какой должна быть идеальная женщина. (“Откуда им знать? – пишет насмешник. – Ни одну женщину в студию не пригласили”). Но, несмотря на сарказм, автор статьи согласен: идеальная женщина должна проявлять как можно больше эмпатии (любой мужчина нуждается в сочувствии и поддержке), должна обладать добрым и ровным нравом (кому нужна жена, у которой притворная нежность сочетается со сварливым характером и припадками злости?).

⁵ *Famous Grouse* – дорогой шотландский виски.

Как про кошку – должна обладать веселым нравом и превосходно ловить мышей.

Рита отложила газету – все равно не удастся сосредоточиться.

Она думала о Видале, своем вновь обретенном муже.

Двадцать лет. Двадцать лет он не решался пойти на этот шаг, и двадцать лет позорная тайна мучила ее, как болезнь. Хроническое воспаление злости. Не проходило часа, чтобы она не чувствовала эту злость. Каждое утро, в будни и выходные, вдвоем и в одиночестве. Она тщательно оберегала их тайну, никому и никогда не давала повода подозревать, какой ком колючей проволоки растет в душе. Заговорить на эту тему – значит признать свое унижение. Даже теперь, когда уже нет повода чувствовать себя униженной. Повод исчез, а обида осталась. А может, и нет – сразу трудно понять, осталась обида или нет. Скорее всего, глупости и сантименты. Всегда рассудительная, обеими ногами на земле, никогда не принимающая желаемое за действительное – с какого перепугу она решила, что после регистрации все изменится? Исчезнет стыд, испарится комплекс неполноценности... Но стыдный секрет остался. Вчерашняя процедура никакого облегчения не принесла. Она ожидала, что на этом все, точка, – ан нет. Даже рассказать нельзя, сразу поймут – *ага, значит, раньше они просто сожительствовавали! Ну и ну...*

Нет, злость не утихла.

Пепел с сигареты упал на стол. Догорела сама по себе. Она

забыла курить, забыла стряхнуть пепел, забыла, что пора идти за покупками.

Что со мной? Будь что будет, все равно я ничего не могу изменить.

Рита не стала просматривать шкафы, искать, что надо купить. Список покупок не составила. Не хотела даже думать про грязное белье – его надо сортировать, потом стирать на доске, полоскать раз за разом, потом вывешивать, цепляя прищепки к бельевой веревке. А потом стоять у гладильной доски. Она вообще-то любила гладить, ей нравилось следить за превращением мятой тряпки в безупречно гладкую, приятную на ощупь белоснежную простыню. Но не сейчас. Сейчас ей хотелось только одного – вернуться в сад, в покой тихого декабрьского дня.

При каждой британской переписи населения Рита получала новую версию имени. Как-то власти назвали ее Фредерикой. В другой раз на свет появилась Фрида, а потом испорченный телефончик бюрократии превратил ее в Риду. Почти во всех документах она так и осталась Ридой, хотя правильное имя Рита. Рита Гертруда Блиц. Возможно, волонтер при переписи так услышал: вместо *Рита* – *Фрида*, *Фредерика*.

Родилась 6 октября 1900 года, но и это неточно. Вернее, 6 октября – это точно, а вот какой год, 1900-й или 1901-й, есть сомнения. В разных документах написано по-разному, и эта путаница преследовала ее всю жизнь. Хотя после смерти

матери, разбираясь с ее скромным наследством, Рита нашла ветхую пожелтевшую бумажку, а на ней фиолетовыми чернилами с золотым отливом было написано: родилась в 1899 году. Это означало вот что: вчерашнее обручение в присутствии двух свидетелей в регистрационном бюро в Энфилде состоялось почти два месяца спустя после ее пятидесятилетия. Невеста – загляденье. Особенно хорош грубый рубец на пузе после кесарева, да и жених под стать – скоро шестьдесят. И что?

А вот что: опять сороки набросали веток на дорожку у калитки.

Теперь ты довольна?

Ей даже думать не хотелось про вчерашнюю процедуру. Брак зарегистрирован, скреплен подписями свидетелей – все именно так, как она и представляла... но почему же так хочется стереть этот день из памяти? Его не должно быть, вчерашнего дня, подумала она и с яростью всадила грабли так, что выдрала несколько стеблей гусиного лука. Вот так надо поступить и с этим днем. Вычеркнуть среду 30 ноября 1949 года из календаря. Или не замечать. Среди всех трехсот шестидесяти пяти пусть будет один не-день. Пауза между ударами сердца. Трудно, что ли, году сморгнуть, перевести дыхание – и пусть катится дальше. Столько дней, триста шестьдесят пять! Никто и не заметит пропажу.

Никогда не будет она отмечать этот день, проживи они вместе хоть сто лет.

Рита прислонила грабли к стене и пошла в прихожую – как была, не сняв грязные садовые башмаки. Взяла с телефонного столика календарик, где отмечала посещения врача и крайние сроки оплаты счетов. Ноябрь представлен набором квадратиков, каждый обведен жирной красной рамкой. Достала из кармана куртки секатор и ткнула в квадрат с цифрой “30” – на месте вчерашнего дня появилась безобразная дырка. Так не годится. Принесла ножницы и, чуть не высунув язык, аккуратно вырезала клетку. В голову пришла дурацкая мысль: ночь. Линия разреза приходится на ночь с двадцать девятого на тридцатое.

Положила вырезанный квадратик на ладонь, вышла в сад и дождалась, когда прорвавшийся сквозь холодный скелет дуба порыв ветра подхватит бумажный обрывок и унесет.

Некоторое время следила, как день ее бракосочетания, не находя пристанища, порхает в воздухе.

Потом вернулась в дом.

Скоро позвонит Мейбл. Мейбл на работе, но в одиннадцать у них перекур, и за последние двадцать лет не было дня, чтобы она не позвонила. Поговорить – просто так, ни о чем. Долгие годы жизни сестры делили ночи и дни, делили постель, делили хлеб и голод. Хотя одна сестра – домохозяйка в лондонском пригороде, а другая – телефонистка на коммутаторе в центре города, никаких причин рвать кровную связь не было, нет и, скорее всего, не будет. Правда, иногда

Рита недоумевает – как Мейбл не устает от телефона? Ведь она ничем другим не занимается. Говорит, говорит, соединяет, переключает, перетыкает штекеры, опять говорит – и так дни напролет. А иногда – не особенно, впрочем, часто – Рите хочется поменяться с Мейбл. Пусть не у нее, а у Мейбл будет все, о чем должна мечтать нормальная женщина. Муж – дом – дети. А она, Рита, пойдет работать. Незаметная, более того – невидимая женщина в круговороте прохожих, с утра до ночи заполняющих улицы Лондона. Не то чтобы Рите не хватало грязи и суеты огромного города – не в этом дело. Ей не хватало работы. Бухгалтерское дело очень нравилось – завораживал порядок, тщательно подобранные и сведенные воедино цифры, самоочевидность сложения и вычитания, прямые колонки доходов и расходов, остро заточенные карандаши и не подлежащие обсуждению позиции, выделенные красными чернилами. Не хватало и перерывов, когда можно посплетничать с другими девушками.

Нет, с Мейбл она не хотела бы поменяться. Мейбл работает на одном из самых больших коммутаторов. Долгие дни под жужжание сотен, если не тысяч телефонных разговоров, миллионов слов, которые превращаются в электрические импульсы, а на другом конце загадочным образом воскресают и опять становятся словами. Да, конечно, Мейбл находится в самом сердце набирающей силу технической революции – но это не для Риты. Телефонный разговор нельзя увидеть, нельзя пощупать, нельзя оценить его логику и

красоту. А сестра работает телефонисткой ни много ни мало двадцать лет – и не устает восхищаться своей ролью волшебницы, мановением руки соединяющей голоса, деревни, города и части света.

Всегда была восторженной. Куда ни ткни – ахи и охи.

Так и есть. Не успели часы в гостиной пробить одиннадцать, как раздался звонок. Рита подняла трубку, прикидывая, что ответить: Мейбл наверняка спросит, как прошел вчерашний день. Нечего прикидывать – прошел и прошел. Ничего особенного, день как день. Обычная среда. Но Мейбл задала совсем другой вопрос:

– А что там у Салли? Уже две недели ничего не слышно. Там же все время идет снег, я читала. Снег и снег. У нее есть теплое пальто? А ботики на меху? И вообще – почему ей взбрела в голову Швеция?

На этот вопрос у Риты ответа не было. Она и сама плохо понимала старшую дочь. Единственное, что знала твердо, – повлиять на ее решения невозможно. Вулкан своеволия. Теперь решила оставить Лондон: нашла работу преподавательницы английского в Швеции. Почему из всех стран именно Швеция – неизвестно. Но на прямой вопрос Мейбл ринулась защищать дочь:

– Хочет мир посмотреть. Мы и сами любили путешествовать, дай только возможность. Ты же помнишь.

– Только путешествия по Германии. И только пешеходные маршруты. Чтобы исчезнуть на несколько месяцев – такого

у нас не было.

Вообще-то с отъездом взрослой дочери в доме стало спокойней. Никаких яростных споров за воскресным ланчем, никаких требований срочно одолжить деньги, никто не вскакивает из-за стола и не убегает, на прощанье хлопнув дверью так, что стены трясутся. Салли никогда не могла прийти к соглашению с отцом. Вопрос, когда и как она собирается возвратить занятые деньги, приводил ее в ярость, а уж спрашивать, на что эти деньги потрачены, – и вовсе табу. Нельзя сказать, чтобы Рита не любила Салли, – если бы не любила, не стала бы терпеть мучительные дискуссии в сизой от табачного дыма кухне. Перечень совершенных матерью ошибок и унижительных бестактностей. *Ты меня никогда не любила.* А главное – досада, а иной раз и отчаяние: нужные и убедительные слова не удалось найти ни разу. Конечно, дом с отъездом Салли опустел, зато воцарились мир и покой.

– Мне ее не хватает, – заключила Мейбл. – Думаю, тебе тоже.

– Она никогда не обвиняла тебя в скупости и бесчувственности.

– И знаешь почему? Потому что я никогда не была ни скупой, ни бесчувственной.

Посмеялись.

– Послушай... а кто ее выманил из Лондона? Тот швед?

– Думаешь, я знаю? Она ничего не говорила.

– Еще бы! Ты ее мать, она же не совсем дурочка, чтобы

делиться с матерью. А он симпатичный. И такой... долговязый. Надеюсь, она влюблена.

– Мейбл!

– Да, да... Тебе никогда не удавалось держать ее на поводке. А Ивонн? Что там по ночам? По-прежнему?

– Вчера нашла у нее за книгами ломоть хлеба.

– Опять?

– Опять.

– Повесь висячий замок на буфет. И мне пора вешать, только не замок, а трубку. Придешь в субботу? Замечательная пьеса. Оскар Уайльд. Я играю леди Брэкнелл, у нее самые остроумные реплики. Вот послушай: *“Тридцать пять – это возраст расцвета. В высшем обществе полно женищин, которые десятилетиями, а главное, добровольно остаются тридцатипятилетними”*.

Они опять засмеялись. Одна в прихожей таунхауса на две семьи в Винчмор-Хилл, другая в огромном, жужжащем как улей зале телефонного коммутатора в Лондоне. И пару минут на линии, соединяющей эти две точки, ничего не слышно, кроме заливистого смеха Риты и ее сестры Мейбл.

Рита положила трубку, глянула в зеркало и, к своему удивлению, обнаружила, что все еще улыбается.

– Теперь я замужняя женщина, – шепотом сказала Рита, закрыла за собой калитку и неторопливо двинулась по тротуару, поглядывая на одинаковые двойные таунхаусы, кото-

рые, собственно, и составляли смысл существования этой улочки. На первый взгляд дома различить почти невозможно. Наверное, так дешевле. А может, и замысел таков: пусть живут и никто никому не завидует. Привлекли психологов: так и сделаем.

Успокойся. Твой дом ничем не хуже моего. И не лучше.

Но люди есть люди. Многие попытались придать массовой строительной директиве индивидуальные черты. Кто-то вставил в окна решетчатые рамы под старину, кто-то выкрасил входную дверь в ярко-синий цвет или врезал полукруглый иллюминатор. Рита всегда подмечала и мысленно оценивала новшества соседей. И сегодняшняя прогулка в рыбную лавку на Ридж-авеню не исключение. Но есть и отличие. В мозгу ритмично, как удары сердца, вспыхивает одна и та же мысль: *я такая же, как вы*. Со вчерашнего дня нас ничто не различает. У меня теперь есть свидетельство о браке – и полное право идти по улице, не опуская голову.

От утренних заморозков ни следа, разве что редкие и короткие порывы ледяного ветра. Небо выше, голубее, и надо же: ровно в 11:30 появляется солнце. Оно светит одинаково щедро отправившимся за покупками женщинам, детишкам в школьной форме, мужчинам в шляпах. Парки, магазины, мастерские, автобусные остановки, кинотеатры, больница, канал, паб “Зеленый дракон” – все выглядит празднично и беззаботно. И Рита внезапно понимает – в такие минуты жизнь прекрасна.

Подумать только, она, Рита, состоит из двух несовместимых частей, доставшихся от матери Эмили и отца Георга. Мать и отец были разной породы. Мать с преувеличенным чувством долга, спокойная, но легко впадающая в уныние, отец – веселый, безответственный выдумщик. И дети тоже все поделили. Оттилия и Фред – уравновешенные и мрачноватые, Эльза, Эрнест и Мейбл – в отца, обожают музыку, игры, вечеринки с переодеваниями.

А я? В кого я?

– Прелестная погода. – Зеленщик вывел ее из задумчивости.

– Скоро будут заморозки, – сказала дама в рыбном.

Почти ничего не купила. Талоны на мясо кончились, а масло не по карману – свинские цены. Достоешь кошелек – и солнце тускнеет, и небо выцветает. Кексы... из золота они, что ли? Можно резать хлеб как угодно тонко, но в эту неделю не извернуться. Даже в войну было лучше: их эвакуировали в Вустер, она выращивала овощи и держала двух кур – ради яиц. *В войну было лучше...* Рита тут же устыдилась: как можно даже подумать такое! Никто, если окончательно не тронулся умом, не станет тосковать по тем временам. По вздрагивающим стенам бомбоубежищ, по выматывающему вою бомб, по ежедневным сводкам погибших. Обругала сама себя и двинулась домой, не задержавшись, как обычно, на площади – посидеть на скамейке и поболтать со знакомыми. Только не сегодня. Нет сил вникать в неурядицы других –

своих хватает.

Кто-то набросал окурки в грядку у почтовой конторы. Годовалый ребенок в коляске с хрустальным кулоном соплей под носиком. Мимо прошел незнакомый мужчина, насвистывая *I can dream, can't I*⁶.

“А почему он не на работе?” – с внезапным раздражением подумала Рита.

Зеленый, несмотря на зиму, пригород внезапно показался неухоженным, колючим и негостеприимным. Люди смотрят на нее как на чужую, словно ее дом и ее гортензии все ей и не принадлежат. Так, позаимствованы на время. А что ответить ему, когда он в очередной раз назовет ее расточительной? Ничего сложного, ответ готов: *Ты даешь на хозяйство слишком мало*. Неделя за неделей – слишком мало. Рита специально завела бухгалтерскую книгу, вписывала все расходы. Показывала Видалю: смотри, все до последнего пенса учтено, покажи, без чего мы могли бы обойтись? Как об стенку – нет, ты не заботишься об экономии, не умеешь вести хозяйство.

Ей не по себе в предчувствии неизбежной ссоры. День за днем, месяц за месяцем – на одну и ту же тему. Его красивые глаза леденеют. Постоянное недовольство стало третьим членом их семьи.

Еще этого не хватало – в щель двери вставлена записка

⁶ “Я могу мечтать, не правда ли” (англ.) – популярная в послевоенные годы песня Сэмми Файна, особенно известна стала в исполнении “Сестер Эндрюс”.

без подписи.

Будьте любезны, не жгите мусор, пока я сушу белье. Простыни и наволочки пахнут дымом.

Она смяла записку, поставила до отвращения легкую сумку с продуктами на пол в прихожей и вышла на задний двор. Посмотрела на останки костра – холодные, черная лепешка золы и не прогоревших, обугленных комочков. Подошла к сарайчику на сваях, поднялась на пару ступенек и через забор заглянула в соседский двор. И в самом деле: натянуты две веревки, а на них белые сорочки, чулки, простыни, еще какие-то неопределенного вида тряпки.

Оказывается, она все еще сжимает в руке эту гнусную записку. Осмотрела свой двор – листья, собранные в кучу у забора, обрезанные еще на прошлой неделе ветки. Этого хватит. Через пять минут принесла вчерашнюю газету, разорвала на куски и сунула под неопрятный ворох. Костер разгорелся за несколько секунд, и в небо поднялся столб черного дыма от веток и типографской краски.

У Риты улучшилось настроение. Только этого не хватало – записки писать.

– *Новобрачная.* – Рита поделилась своим новым статусом с кофейной чашкой.

– А чем занимаются молодожены в медовый месяц? – спросила она кота. Тот сладко потянулся и коротко мяукнул. – Идут в горы на прогулку? Или греются на пляже?

Ей почему-то всегда представлялась Венеция с каналами и гондольерами под рекламно-синим небом. Но можно ли назвать это пределом мечтаний? Можно, конечно, но не то чтобы эта мечта была самоочевидной. Двадцать два года прошло с того вечера, когда Мейбл вытащила ее на танцы в Шеперд-Буш, – очень уж хотелось повеселиться, но идти одной как-то неудобно. И там-то и случилась эта встреча, благодаря которой она сидит теперь в новом для нее статусе законной жены. Сидит и сгорает от стыда в своей желтой кухне. Сидит и смотрит на первую страницу газеты. Могла бы и не смотреть: напечатанные даже крупными буквами слова проходят мимо сознания.

Мой медовый месяц вот какой: несколько часов одиночества.

Мой солнечный пляж, мое счастье, мой экзотический медовый месяц умещаются в стальной мойке для посуды.

Эмиграция предъявляет человеку серьезные требования. Умение планировать, решительность, смелость. Первое сентября 1886 года – день необратимый. Это был день прощания со вчерашним и ожидания будущего в Америке, день, когда все, о чем говорил Георг Блиц, начинало обретать черты реальности. Вероятно, они имели довольно смутное представление о том, что их ждет. Новый город, новое полотно жизни, чистое, без трещин и кракелюр, новый дом, откуда тебя не выкинут за неуплату. Все будет по-другому, навер-

няка повторяли они друг другу. Все будет лучше, потому что ничего хуже, чем их жалкое существование во Франкфурте-на-Майне, и придумать невозможно. Эмилия и Георг Блиц продали все, что можно было продать, взяли с собой только самое необходимое. Интересно, кто следил за путевыми расходами. Кто, кто... конечно, Георг. Иначе бы все повернулось по-другому.

Прощай, квартира на улице Музыкантов. Прощай, церковь в деревушке Борнхайм, где они венчались, где крестили и через двадцать дней похоронили первенца Фридриха. Его могила и поныне там – якорную цепь можно растягивать как угодно, но сняться с якоря невозможно. Прощайте, неуклюжие попытки Георга зарабатывать торговлей. Прощай, небольшой, но верный круг заказчиц: Эмилия слыла хорошей портнихой, она была очень аккуратна, швы стежок к стежку, и к тому же врожденное и никогда не изменяющее понимание ткани – ее цвета, тяжести, плотности или рыхлости.

Но труднее всего было расстаться с Эльзой Йоганной.

Конечно же, безумие – брать в такое путешествие шестимесячного ребенка. Решили, что о ней позаботится мать Эмилии в Игстадте, а они, как только встанут на ноги, за ней приедут. А годовалая Оттилия, крепенькая, здоровая девочка, отправилась в Америку с родителями. Как уже сказано: эмиграция – это умение планировать, решительность и смелость. Слезы расставания в набор не входят.

Вся затея принадлежала Георгу. Скорее всего, именно Георг подхватил микроб свирепствовавшей в те годы лихорадки перемены мест. Уже в 1880 году он уехал в Америку с первой волной немецких эмигрантов, жил в Нью-Йорке. Подал заявку на гражданство, но вернулся в Хессен уже через три года. Никто не знает почему – то ли деньги кончились, то ли решил выбрать в жены соотечественницу. Вторая причина, между прочим, больше похожа на правду. Очень скоро после возвращения Георг встретился с ровесницей, Эмилией Элизабет Катериной Борманн, и поскорее на ней женился. В брачном свидетельстве Георга значится: “Сословие – купец”. Что покупал и что продавал – неизвестно, но состояния на этой призрачной торговле не нажил. В единственной сохранившейся бумажке, подтверждающей пребывание Георга в Нью-Йорке, стоит “клерк” – наверняка с его же слов.

С той поры, как Георг остепенился и обзавелся семьей, он только и мечтал вернуться в Америку. Лишь там можно начать новую, настоящую и осмысленную жизнь, говорил он жене и всем, кто имел время и терпение его выслушать. Лишь там упорной работой можно обеспечить себе будущее, лишь там создаются и растут состояния, а главное – возможности есть у всех, было бы терпение и желание. Подумать только – *равные возможности*. И неважно, вырос ты во дворце или в пригороде. Оставим все это, говорил он жене с утра до вечера. Здесь нам не хватает денег на еду – но не это главное. Главное – *нам не хватает надежды*.

Тут он попал в точку.

Эмилия вовсе не так страстно мечтала об эмиграции, но соглашалась с мужем. Ею двигала не столько мечта о красивой и богатой жизни, сколько именно надежда избавиться от давящего чувства безысходности.

– Нас ждет не рай. Один Бог знает, какой тяжелый труд нам предстоит, – сказал Георг своей набожной жене.

– Не поминай имя Господа всуе, – ответила Эмилия.

Оставляя позади страну, в которой родился, и переезжая в другую, эмигрант превращается в иммигранта. Очень похожее слово, отличается всего парой букв, а разница огромная. Меняются буквы, и вся жизнь приобретает новое направление. Отъезд – приезд, разрыв со старым – освоение нового, от привычного – к неизвестному. Ты бросаешь знакомое место – и сам оказываешься брошенным.

Георг Блиц был очень красивым мужчиной. Большие карие глаза, приветливый, разговорчивый, легкий в общении. Очень гордился своими усами. Но он совершенно не умел обращаться с деньгами. Мало того – умудрился потерять все их сбережения. Это единственное, в чем он действительно добился потрясающего успеха. Без всяких преувеличений.

Пароход бросил якорь в Портсмуте, где они должны были пересесть на трансатлантический лайнер, – и тут выяснилось, что их чемоданы пропали. Всё, что у них было. Возможно, по ошибке отправили в Лондон – объяснил клерк в

пароходстве. По чьей ошибке? Может быть, Георг небрежно заполнил бумаги, если вообще заполнил. Это было не просто несчастье, *Unglück*, это была *eine Katastrophe*. Вместо того чтобы провести в Портсмуте несколько спокойных дней до отплытия, как они собирались, теперь надо было ехать в Лондон, тратить деньги и искать потерянный багаж: одежду, швейную машинку, фотографии Эльзы Йоганны – всё. Интересно, какими словами Эмилия высказала свое, мягко говоря, разочарование? Кричала, топала ногами? А как реагировал Георг? Молчал или отругивался? А может, дал ей ту-мака?

А ведь все могло повернуться по-иному. Если бы обстоятельства не подталкивали их от одной неудачи к другой... Тогда бы и билеты из Портсмута в Лондон стоили подешевле, тогда бы не пришлось им день за днем обходить все лондонские судовые склады, бюро находок и ломбарды. Если бы повезло чуть больше, Георг не нашел бы приятелей по выпивке, и если бы его не обокрали... Еще раз: если бы не несчастное стечение обстоятельств, они бы успели вернуться в Портсмут и подняться на борт американского парохода. И прибыли бы в Нью-Йорк, в Америку, страну, где текут молочные реки, а масла столько, что хватит на сотни тысяч немецких иммигрантов, и даже если приедет еще столько же, все равно достаточно. Масла хватит на всех.

Ах, если бы только обстоятельства повернулись по-другому...

Но обстоятельства не повернулись. Они прибыли на вокзал Виктория и, проталкиваясь сквозь толпу, двинулись искать ночлежку. По пути их обокрали.

Если подвести итог: они остались в чужой стране, без денег, без чемоданов, без крыши над головой, к тому же Эмилия вообще не говорила по-английски, а Георг, хоть и пробыл три года в Америке, жил в эмигрантской среде. Если и мог объясниться, то с трудом. Про американский корабль можно даже и не мечтать. Их ждали трущобы Ист-Энда.

В Бетнал-Грин жили самые бедные. *Отбросы общества*, как их презрительно называли. Высокая смертность компенсировалась разве что неконтролируемой рождаемостью. *Tumbledown houses*⁷ – так назывались эти дома, где то и дело отваливались кирпичи, стекла выпадали из рам и обрушивались на мостовую, крыша, разумеется, протекала – оторванные листы жестяной кровли трепетали на ветру, как паруса. Воры, пропойцы, отчаявшиеся и вновь прибывшие. Немцы, французы, итальянцы вперемешку с бежавшими от погромов евреями из России и Польши. Индийские матросы, пританцовывающие смуглые красавцы из карибских колоний. А в Уайтчепеле, совсем рядом, наводил ужас Джек-Потрошитель, серийный убийца женщин, взявший за привычку перерезать горло своим жертвам, а иной раз и вспарывать животы. За ним охотилась вся полиция Лондона, но безуспешно. Здесь жил зеленщик, ежедневно таскавший свою тележку в

⁷ Разрушенные, подлежащие сносу (англ.).

центр столицы, пять миль туда и пять обратно. Здесь жили ткач без шелка и множество прилично одетых карманников, проводивших дни напролет в городских магазинах. Во дворах истошно орали ослы, в окнах на веревках вялилась рыба.

В этих трущобах правил голод. Голод гнал по улицам бледных, изможденных, беспризорных детей, голод пах запеченными овечьими головами – лакомством, доступным только по субботам. В остальные дни обходились пивом и ломтем хлеба. Трущобы Бетнал-Грин славились по всему городу; богатые лондонцы даже приезжали сюда на дрожках полюбоваться на живописную, как им казалось, нищету – видимо, зрелище добавляло остроты в их восприятие полноты и совершенства мира. Грязь, воры, малолетние проститутки, босоногие малыши, продающие спички или поношенную одежду, – вот новые соседи семьи Блиц на улице Бетнал-Грин-роуд, 261. Вместо сверкающей, успешной, лопающейся от жира Америки они оказались в этой тесной клоаке – и все из-за Георга Блица, из-за его немыслимой слабости и несобранности. Даже представить трудно, чтобы эти не так уж часто встречающиеся качества умещались в одном человеке и в таких пропорциях.

И как ни молилась Эмилия – никаких развилок, никакого выбора, никаких альтернативных решений, никаких случайно подвернувшихся возможностей. Взялись за первую же подвернувшуюся работу: продавали газеты с годовалым ребенком на руках. *Невероятные новости, невероятные, та-*

кого еще не было. Знания языка почти не требовалось, но и денег почти не платили. Они голодали. Достойную подпитку получало только нарастающее с каждым днем раздражение Эмилии. Раздражение и разочарование.

Мужчины... что с них взять? Рита покачала головой.

И вот, больше чем через шестьдесят лет после нелепой эмиграции родителей из Франкфурта-на-Майне, стоит она в своем саду и выпалывает сорняки из щелей между каменными плитками. Земля застревает под ногтями, пальцы черны – и что? Разве земля и она – не одно и то же? Перегной, розовые черви, удирающие жучки, бледно-зеленые побеги, упрямо стремящиеся от мрака к свету, – разве это не ее единственное богатство, разве где-то еще она чувствует себя по-настоящему дома? Нет. Только в саду. *Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub*. Ибо прах ты и в прах возвратишься.

Нельзя сказать, чтобы Рита не любила мужчин. Она просто не хотела видеть их в своем окружении.

Там, в вонючих, без единого дерева кварталах Бетнал-Грин, родились все три старших брата Риты. Только через восемь лет семье удалось оттуда съехать благодаря стараниям и упорству Эмилии. Она наскребла денег на швейную машинку и уговорила хозяина одной из многочисленных мастерских в Вест-Хэме давать ей работу на дом. Она же нашла квартиру в Стратфорде, Лейонстоун-роуд, 88. И наконец-то у нее появилась возможность вывезти из Герма-

нии дочь Эльзу.

Перепись населения 1901 года: семья Блиц. Мать Эмилия (глава семьи), ее дети: Оттилия, 16 лет (помощница в магазине тканей), Эльза, 15 лет, Эмиль, 13 лет, Фредрик, 11 лет, Эрнест, 8 лет, Мабель, 5 лет, и Рита, 2 года. Муж не указан. Георг Блиц, потерявший все имущество семьи, теперь и сам потерялся. Местонахождение неизвестно. Оказалось, Эмилия лучше справляется в одиночку.

Рита много раз пыталась вспомнить, но так и не вспомнила, произносила ли она хоть когда-нибудь слово “папа”? Мать не хотела ничего про него знать, в семье его никогда не называли по имени. Как будто можно изгнать человека из жизни и из памяти общим молчанием.

Они не хотели его знать, но он не оставлял их в покое.

Что я помню об отце? Он приходил к нам, колотил в дверь, кричал и требовал, чтобы его впустили в дом. Мать запирала дверь на засов, гасила лампы, мы притворялись, будто нас нет. Ш-ш-ш... это ОН! И мы сидели в полном молчании, застывшие в напряжении, как потревоженные зверьки в норке. Мать и целая команда детишек страстно молились, чтобы он поскорее исчез.

Семья не пропускала ни одной воскресной службы в кирхе Святого Георга в Уайтчепеле. Слово Господне по-немецки, да еще там всем вручали мыло и жидкость для дезинфекции. Островок чистоты посреди пахнущего сточными водами города. У Риты болела спина, настолько неудобными бы-

ли деревянные скамейки в церкви, хотя мать и говорила: хорошо. Значит, Бог тут.

Без боли Бога нет, думала Рита, пока пастор читал длинную проповедь.

Время шло, и семья постепенно убывала. Оттилия вышла замуж, братья Эрнест и Фредрик работали по десять часов в день в страховой компании, Эльза – служанкой в отеле “Савой”. Остались только Мабель, Рита и мать – тесный треугольник, из которого никто не мог, да и не хотел выпадать. Никто, кроме них самих, им и не нужен был. Но с матерью иногда происходили странные вещи. Рита запомнила, как она внезапно отрывалась от машинки и долго, очень долго, не шевелясь смотрела в никуда. Такое обычно случалось, когда приближался срок уплаты за квартиру. Как только девочки замечали, в каком состоянии мать, не говоря ни слова, надевали сапожки. Матери надо выйти из дома, прогуляться, ударами подошв о мостовую загнать тревогу внутрь, постараться, чтобы ее место заняла усталость. Так они и шли, взявшись за руки, Мабель справа, Рита слева, мимо вечерних магазинов, никогда не закрывающихся мастерских, мимо пабов с матовыми окнами, шли долго, шли, пока не заканчивался изматывающий многочасовой рабочий день и город не начинал заполняться чадом и вонью пивной мочи. Их толкала вперед тревога. Девочки молчали – говорить было не о чем. Жизнь – это ходьба, бесконечная, утомительная ходьба, а ее составные части – вот они: Эмилия, Мабель, Рита,

вечная тревога, работа, несокрушимая гигиена и голод. Что еще можно сказать? Дети шли, держали мать за руки и молчали: Викарейдж-лейн, Портвей, свернуть на улицу Святого Энтони, потом на Дизраэли-роуд – и домой, на Ромфорд-роуд, 145. И мгновенно засыпали – девочки на диване-кровать, а Эмилия на узкой лежанке, которая раскладывалась из кресла.

В тяжелые периоды Риту отсылали к старшей сестре. Оттилия вышла замуж за пекаря, сына эмигранта, который переделал свою немецкую фамилию на английский лад: был Сандштайн, стал Сандстоун. Их дом пах мылом и мукой. Риту кормили досыта, а она в благодарность помогала по дому после уроков и бегала по различным поручениям.

Рите казалось, что кондитерская “Сандстоун и сын” на Бишопгейт похожа на королевский дворец. Сверкающие витрины, круглые, продолговатые и прямоугольные хлеба, печенье и пирожные выложены на декоративные блюда. И белые витиеватые ценники: чай 2 п., кофе 2 п., шоколад 3 п. Нищим не беспокоиться.

В церкви Рита то и дело слышала яркие описания рая Господня, сочных и сладких фруктов, хрустальных источников и теплого, ласкового воздуха: *Heute wirst du mitt mir im paradies sein*⁸. Ей ли не знать, как выглядит рай! И не только выглядит, но и пахнет. Рай не может пахнуть ничем иным. Рай пахнет только что вынутым из печи хлебом.

⁸ Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю (нем., Лк. 23:43).

Рита часто вспоминает мать, но ни на секунду не хочется ей вернуться в свое детство, ни один прожитый в те годы час не оставил радостных или хотя бы приятных воспоминаний.

Она обогнула дом и с черного хода прошла на кухню. Что за нелепый день...

– Пора заняться чем-то полезным, – сказала она вслух тоном, в котором слышались твердость дубовых церковных скамеек, эхо исповеди и долга. Порылась в ящике и нашла висячий замок с приложенной петлей. Коловорот, несколько шурупов – и буфет застрахован от ночных рейдов Ивонн. Ключ спрятала в пустую сахарницу, которой никто никогда не пользовался. Сегодняшняя “Ньюз Кроникл” так и лежит на столе, открытая на той самой статье, где четверо мужчин в студии Би-би-си обсуждают качества примерных жен. И она опять не смогла сдержать раздражения.

Женщины любят готовить. После десяти лет замужества стряпня приводит их в лучезарное настроение. Если вы женитесь на женщине из Йоркшира, получите превосходный обед в первый же день, и так будет продолжаться до самой смерти.

Рита положила грязный коловорот и отвертку на газету, прижала и начала методично отрывать лоскуты. Не выдержала, хотя знала, что Видадь обязательно захочет перечитать.

Постаралась унять злость. Пошла в ванную и прочистила слив, выковыряла волосы и остатки мыла. Дурно пахнущие

брызги запачкали рукава.

Зачем долго искать – вот же он, неоспоримый пример лучезарного настроения замужних женщин.

Кристина Гёбель родила Элизабет Катерину Эмилию Борманн, а та родила Риту Гертруду Блиц – поколения нищих пуритан, глубоко укорененных в землю Гессена. Если кому-то пришлось бы в голову взять керн в самом центре Германии, в цилиндрике этом обязательно оказался бы прах Ритиных предков – измученных непосильным трудом и бесконечными родами женщин. Швей, служанки, нищие крестьянские жены, в лучшем случае – на побегушках в сельских лавках. А теперь, когда семья, одна из ветвей рода, обосновалась в Великобритании, надо было сохранить старое и переварить новое, и все должно сосуществовать рядом, в одной семье и даже в каждом отдельно взятом ее члене. Но как при этом вновь найти себя? Что ты потерял и что тебе предстоит завоевать? Какой запах больше всего напоминает о доме? Какую грязь ты переносишь легче – в Лондоне или во Франкфурте? Грязь прошлого или будущего? Для женщины-иммигрантки и для ее детей жизнь проходит на грани между двумя реальностями с постоянным риском их столкновения.

Пришло время, когда семья поняла, что их фамилия работает против них. После победы Германии над Францией в 1870 году в стране поселился страх – не станет ли Великобритания следующей жертвой воинственного соседа? В са-

мых крупных газетах медленно, но верно разворачивается антигерманская кампания. “Таймс”, “Дэйли Мэйл”, “Спект-эйтор”, “Нэйшнл Ревю”. Эти новые издания читают миллионы, и ненависть к немцам растет с каждым свежим номером. Наклейки *Made in Germany* становятся все крупнее и прямо призывают к бойкоту. Джинна выпустили из бутылки, и оказалось, этот джинн ненавидит немцев лютой ненавистью. Вот что писал один из журналистов: “Немцы – содержатели борделей, портье в отелях, парикмахеры, наглецы, дезертиры и банщики, пекари, социалисты и заштатные конторщики”. Перечень не вполне понятен, но посыл сомнений не вызывает: все немцы – негодяи.

Короче, газеты делают все, чтобы проломить тонкий ледок, под которым до поры до времени тяжело ворочается агрессивный хаос массового сознания.

Немецких иммигрантов обвиняют в подрыве профсоюзного движения, сражающегося за лучшие условия труда для клерков и официантов, – немцы готовы работать дольше и получать меньше. Опросы общественного мнения не оставляют сомнений: в уличной проституции, в участвовавших ограблениях тоже повинны немцы.

А с началом Первой мировой презрение и ненависть вылились в насилие. Конфискации немецких предприятий, немцам запрещают свободный выбор места жительства, тысячи молодых людей в призывном возрасте интернируют в лагеря. В мае 1915 года “Гардиан” сообщает о погромах

в Ист-Энде. Перепуганные люди забились под кровати, но чернь выкинула со второго этажа и кровати, и злодеев-немцев. Вытащили на улицу и немецкое пианино. Тут же нашлись умельцы, одним пальцем подобравшие английские патриотические марши. В роскошном концертном зале Альберт-Холл запрещено исполнять музыку немецких композиторов. Улицы с похожими на немецкие названиями переименовывают. Влиятельный род Баттенберг перелицовывает, а вернее, переводит фамилию на английский и становится Маунтбэттен. Мало того: королевский дом Сакс-Кобург и Гота принимает имя Виндзор. В мае 1915 года немецкие цеппелины пересекают пролив, вторгаются в британское воздушное пространство и сбрасывают бомбы на английские деревни.

Фамилия *Блиц* становится опасной для жизни.

Рита прекрасно помнит вечер, когда они собрались в квартирке на Ромфорд-роуд – обсудить создавшееся положение. Пришли все, кроме уже сменившей фамилию Оттилии, – Эльза, Фред, Эрнест, Мабель. И конечно, она сама и мать. Приходилось шептать: Эмилия сдавала одну комнату электрику, тот выходил в ночную смену и отсыпался перед работой. Братьев и сестер очень беспокоил акцент матери – даже после двадцати пяти лет в стране он оставался недвусмысленно немецким. Умоляли Эмилию держать язык за зубами – по крайней мере, в тех случаях, когда вокруг англичане. Эльза объявила: теперь ее зовут Элси. Фред отказался.

Никто не имеет права отнять у меня имя. Пусть меня лучше убьют, крикнул он страшным шепотом. Эмилия тут же с ним согласилась. Меня не испугать тупой антихристианской ненавистью, сказала она. Моя фамилия Блиц – и точка. Но Рита, Мабель, превратившаяся в Элси Эльза и Эрнест уже начали предлагать варианты. Проговаривали медленно и довольно громко, словно пробуя на вкус. Имена старых знакомых, приятелей по работе, даже листали старые газеты в поисках вдохновения. Фред разозлился и ушел. Позже Эмилия утверждала, что сам Господь подсказал им выход, но Рита помнила совершенно точно: не Господь, а Эрни. Эрнест вообще очень быстро соображал. *Блисс*, сказал он, и все как по команде вздохнули с облегчением. Элси Блисс, Эрнест Блисс, Мейбл Блисс. Тут даже не понадобилось менять написание имени, достаточно произнести Мабель на английский манер – Мейбл. И Рита Блисс. Прекрасные английские имена. И даже инициалы сохранены. Впрочем, Фред так и не согласился. И Эмилия сказала, что она слишком стара для подобных фокусов, но все остальные отказались от немецкой фамилии, чтобы наконец-то вкусить истинное блаженство британскости.

После четырех лет, трех месяцев и двух недель войны Британия недосчиталась миллиона убитых молодых мужчин. Плюс два миллиона изувеченных. Рита за это время окончила школу, из девочки преобразилась в девушку и по-

шла работать прислугой в богатую семью. Потом ей удалось устроиться ученицей в контору, а по вечерам ходила на курсы бухгалтерии и учета. Мейбл прошла почти тот же путь: прислуга – курсы – телефонистка на коммутаторе. В мрачном кинофильме жизни начали вспыхивать светлые кадры, но уже через несколько лет семью поджидала трагедия: шестидесяти двух лет от роду умерла Эмилия.

Дети собрали деньги на скромные похороны. Рита не хотела вспоминать эти дни, отталкивала любые мысли о смерти матери. Наследства, само собой, никакого не было, продать и поделить нечего; контракт на съем квартиры аннулировали. Вязанные шали, в которые куталась Эмилия, пытаюсь унять ломоту в суставах, по-прежнему пахли ее мылом. Их сложили в бумажный пакет и отнесли в церковь – на благотворительность. Рита и Мейбл перевезли свой раздвижной диван в снятую квартирку в центре: однокомнатная, но чистая и, как написано в контракте, “с возможностью приготовления пищи”. Сестры так и спали вместе, как при жизни матери, будто она и не умерла вовсе – сидит тут же рядом и шьет, и при каждом стежке коротко и ярко вспыхивает полированная стальная игла.

После матери остался потертый до блеска деревянный ящик с множеством маленьких и чуть побольше выдвинутых отделений. Там хранились подушка для иголок, не меньше сотни разнообразных пуговиц, образцы тканей, наперстки и сантиметровые ленты. В этих мелочах словно продол-

жалась жизнь Эмилии, ее наметанный взгляд, ее настойчивость и трудолюбие. Рита сохранила этот ящик. Применения ему не было, но он внушал ей даже больше почтения, чем гроб, в котором предали земле тело матери. Ящик всегда стоял на столе, когда Эмилия работала; свидетель бесконечных дней, утомленных мышц и уставших глаз, он впитывал всю ее сосредоточенность, ее неуклонную тщательность – день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вот это и есть истинное наследство: чувство долга, добросовестность и упорство. Не оставить после себя ни одного неровного стежка.

Мабель-Мейбл и Рита с детства держались вместе. Им очень не доставало матери. Потеря напоминала о себе, как шум подводной реки, едва различимый в суете будней, – шум, теряющийся в постоянной тревоге: хватит ли денег до следующей недели? Но как только город затихал, Рита то и дело вздрагивала и холодела, вспоминая невозвратимую потерю. Тоска погружалась все глубже на дно души, хотя заставить ее умолкнуть совсем она не могла.

Но факт остается фактом: после ухода Эмилии жизнь постепенно становилась лучше. Времена менялись. Эмилия не дожила совсем немного.

Рита устроилась счетоводом в один из многочисленных филиалов чайной фирмы *Kearly & Tongues*. Каждый день надевала белую, тщательно выглаженную и наглухо застегнутую блузку с простенькой, но изящной брошью. Надежды на будущее были столь велики, что она притворялась, будто их

и вовсе нет. Работа ей нравилась. Нравилась цифры, нравилась логика двойной бухгалтерии, как одно ведет к другому. Когда цифры сходились, испытывала почти физическое удовлетворение. Бухгалтер как-то похвалил: вижу, тебе нравятся система и порядок. Она согласилась, но не сказала, что еще больше ей нравятся перерывы на ланч. Девушки курят, пьют чай и сплетничают.

Тогда ей все нравилось. Нравилось просыпаться предрастветной ранью и вслушиваться, как ночная тишина переходит в хриплое и все более шумное дыхание города, в непрерывное шуршание автобусов, визг тормозов, взревы двигателей, скрип дрожек. Все это помогало преодолеть сон. Но сам город ей не нравился. Рыжие от угольной пыли дворы, дым из труб, от которого белые носовые платки через пять минут делались серыми.

Мейбл тоже вставала рано, но Рита еще раньше. Подогревала воду, умывалась и надевала чистую блузку. Блузок у нее было две, и каждый вечер она стирала одну, чтобы завтра надеть чистую. Юбок, кстати, тоже две. Потом поднималась Мейбл, они складывали диван, пили крепкий чай с утренней сигаретой и ныряли в лондонский водоворот. Толпы людей, то и дело принимающийся дождь, мгновенно расцветают зонты, как черные бутоны на замедленной съемке, постоянный угольный смог, вонь канализации и поросычей крови – ее выливали прямо на мостовую и кое-как смывали водой из шлангов. Маленькие парки утопают в зеле-

ни и трелях дроздов, нахальные разносчики газет провожают девушек свистом, беззубые женщины продают цветы из цинковых ведер, в туманный от измороси воздух то и дело властно врываются оглушительные ароматы пирогов с тушеными почками. Чувство единения с нескончаемым потоком спешащих на работу женщин и мужчин, рано поднявшихся, рано выкуривших свои утренние сигареты, рано выпивших чай, рано покинувших темные квартиры, – такое чувство, казалось бы, должно радовать и опьянять. Но Риту не покидало ощущение погони. Умом она понимала: город похож на наркотик, это инъекция жизни, но Риту привлекал порядок, а какой может быть порядок в грязной, насквозь продуваемой, орущей и толкающейся подземке или в сальных шуточках парней, обнаруживших, что у нее нет обручального кольца?

Если Рита замкнутым и даже слегка угрюмым характером походила на мать, то Мейбл была вся в отца. Подвижная, веселая. Рита задумчива – Мейбл легкомысленна. Мейбл любила красивые безделушки, яркие бусы, цветы в простенькой вазе приводили ее в восторг. Притащила откуда-то кусок пестрой ткани и застелила диван, тот самый, который каждый вечер превращался в постель. Теперь, по прошествии многих лет, Рита поняла – это были лучшие годы в ее жизни. Все-таки они чего-то достигли, и она, и Мейбл, – после всего, через что им довелось пройти. Дети иммигрантов, изо всех сил старающиеся выбиться из нищеты, экономящие каждый пенни, они в конце концов выполнили самое заветное жела-

ние матери – стали заслуживающими уважения людьми. При этом их тоже коснулась послевоенная трагедия работающих женщин – на них смотрели как на воровок, крадущих рабочие места у кормильцев семей. *Get married, have children, settle down*⁹ – это знали все, такова роль женщин в обществе. А они были не замужем, к тому же еще и работали. Но какой у них был выбор? Мужчин все равно не хватало.

Перепись населения 1921 года, когда Рите было двадцать два, показала, что дисбаланс полов в Великобритании почти катастрофический. Не хватает двух миллионов мужчин. Результаты ошеломили всех и вызвали бурные дебаты. И что нам делать со всеми этими женщинами? Появились карикатуры: толпы распаленных женщин в малопристойных позах подкарауливают пугливых, разбегающихся в панике холостяков. “Дэйли Мэйл” писала о “двух миллионах лишних женщин” и называла ситуацию “катастрофой для человечества”. “Дэйли Экспресс”: “Переизбыток женщин. Два миллиона не смогут найти мужей”. “Таймз”: “Два миллиона женщин – непредсказуемые последствия”. Риту, Мейбл и других девушек в их возрасте зачислили в *the husband hunters*¹⁰. Еще их называли *the surplus girls*¹¹.

Дебаты продолжались из месяца в месяц – что с ними делать, с *surplus girls*? Создать рабочую армию? Завозить жени-

⁹ Выходи замуж, рожай детей, утихомирься (англ.).

¹⁰ Охотницы за мужьями (англ.).

¹¹ Лишние девушки (англ.).

хов из восточных стран? Эти предложения с удовольствием выкрикивали мальчишки – разносчики газет, а Рита и Мейбл по дороге на работу должны были выслушивать самые идиотские предложения, которые могли определить их будущее.

Годы шли, мужчин по-прежнему не хватало. На работу мужчин брали в первую очередь, женщинам удавалось устроиться, только если не было претендентов сильного пола. Женщины съезжались с женщинами, создавали предприятия, и никто не спрашивал, чем они занимаются в постели. Элси, сестра Риты, уже давно жившая со своей Мартой, внезапно перестала быть белой вороной – одна из многих. Но газеты об этом не писали. Ни о сексуальных потребностях, ни о разбитых мечтах, ни о выматывающем душу одиночестве. Нет, об этом ни слова. Вместо этого всерьез обсуждали депортацию одиноких женщин куда-нибудь в южные колонии. Вопрос решается легко: погрузить два миллиона незамужних женщин на корабли и отвезти, например, в Индию. Пусть там искупят свое неумение выйти замуж, так, что ли? Рита едва удержалась, чтобы не плюнуть на тротуар. Как будто это наша вина, что парни выжигали друг другу глаза горчичным газом или втыкали друг в друга штыки и с наслаждением выворачивали кишки...

Но для нее как раз все сложилось по-другому. Осенью ей исполнилось двадцать девять, и Мейбл уговорила ее пойти на танцы в Шеперд-Буш.

Вечер в Хаммерсмит-Пале выдался невыносимо скучным, в памяти от него остался только вкус теплого шенди¹² и пересохших сигарет. Зал огромный, вмещает несколько сотен. Когда-то здесь был завод, под потолком поблескивали уже тронутые ржавчиной стальные рельсы. На цементный пол кое-как постелили шаткие доски, вдоль стен разместили маленькие столики и несколько барных стоек. Девушки при особо бурном повороте в танце выстреливали, как грибы-дождевики, белыми облачками: многие посыпали шею и подмышки тальком, чтобы не потеть. Мужчины об этом не заботились – их мало волновало, воняет от них потом и прокисшими носками или нет. Рита маялась, хотела поскорее уйти. И вдруг – представьте только! – увидела *его*. Он шел прямо к ней, не оглядываясь по сторонам. Кто бы мог подумать? Рита никогда не встречала подобных мужчин. Совершенно чужой, но ей показалось, что они знакомы уже много лет. И его имя... черное, как ночные тени в овраге, белое, как испанское солнце в предгорьях Кастилии. Есть ли в мире хоть одно слово, которое звучало бы так же красиво, как его имя?

Видаль Коэнка.

– Могу я обменяться с вами парой слов? – спросил он с удивившей ее робостью.

Направлялся к ней очень решительно и вдруг застеснялся.

¹² Коктейль из пива, лимонада и гранатового сиропа.

Но глаз не отводил. Голос ей понравился. Выяснилось, что ни он, ни она танцами особо не увлекаются, но что делать, если судьба свела их на танцплощадке?

Кожа слегка оливкового оттенка. Он представился и тут же сообщил, что имя его пишется через “д”, но англичане произносят “т”: Виталь. Рита пожала плечами:

– Ну, тут вы не одиноки. Мое имя пишется через “т”, а англичане произносят “Рида”. Что теперь сделаешь.

Оба засмеялись. Впервые они смеялись вместе. Рита то и дело поднимала на него взгляд – убедиться, что и он на нее смотрит. А он смотрел во все глаза.

– У вас кожа, как у персика, – неожиданно сообщил он. – Как у белого персика. А ваши глаза... как смотреть на небо в просветах апельсинового дерева.

Никто и никогда ничего похожего ей не говорил. Они не дотрагивались друг до друга, но она чувствовала его запах, смесь дыма и недешевого мыла. Этот запах исходил от него волнами, с каждым ударом сердца. Никогда не подозревала, что мужчина может так замечательно пахнуть.

И конечно, имя. Окружение переименовало их в Виталья и Риду, хотя на самом деле не так. Видадь и Рита. Эти неверные буквы, это забавное совпадение словно перебросило между ними мост веселья и открыло шлюзы их душ.

– Вы не хотите увидеться еще раз? – спросил он, и она ни на секунду не задумываясь ответила “да”. Рита и Видадь.

Неверные буквы сделались верными, все, что было слома-

но, вновь стало целым, а хаос преобразился в так любимый ею порядок.

Они сошлись, стараясь соблюдать тайну. Видаль раздел ее в той самой комнатке, что она снимала с сестрой, – неумело и быстро, словно уже очень долго стремился прикоснуться к ее обволакивающей, как он сказал, мягкости. Никто и никогда не называл ее красивой, ни разу за всю ее двадцатидевятилетнюю жизнь, – а теперь она внезапно осознала: это правда! Как же она не замечала! Ее глаза и вправду как небо, прикрытое танцующими веточками ресниц, а сама она преобразилась в сочный плод, которому выпала счастливая доля спасти жизнь погибающему в беспощадной пустыне жизни бедуину. Все происходящее казалось ей странным, почти невероятным, никогда и никем до нее не пережитым. Она не узнавала сама себя. Рита Гертруда Блисс, счетовод в филиале чайной фирмы, та самая, которая когда-то часами ревела на щелястом полу в обнимку с тряпичной куклой, а в комнате с утра до вечера стоял горячий туман от материнского утюга, – кому бы пришло в голову назвать ее сокровищем или белым персиком? Внезапно исчезла угольная пыль, замер уличный шум... уже не надо ломать голову, что они с сестрой могут себе позволить, а чего не могут. Видаль... о, этот серо-зеленый отсвет в его глазах, этот волшебный оттенок кожи, как у высушенного на солнце табака! Он помог ей представить саму себя как белую башню маяка в гавани – радость и облег-

ченный выдох мореплавателя, – как раскаленный нож солнца, прорезающий щели в ставнях в часы сиесты.

Никто не знал про их встречи. Никому и не следовало знать.

Рита до сих пор краснеет, когда вспоминает, как Мейбл после очередной репетиции в театральном обществе явилась домой раньше обычного. И не смогла открыть – дверь была заперта изнутри. Как она лихорадочно натягивала пояс с резинками, как Видаль трясущимися руками неумело застегивал ей на спине лифчик, а Мейбл стучала все сильнее, начала злиться – даже представить не могла истинную причину задержки. И как они открыли в конце концов – красные от смущения, с растрепанными волосами, как врали... Мол, слушали музыку, танцевали и так увлеклись, что не слышали стука.

– Ты же сначала просто поскреблась, – объяснила, мучаясь от вранья, Рита.

Было такое... Потом Рите приходила в голову отвратительная мысль – лучше бы она вообще не встретила Видалью.

Если бы в тот осенний вечер все шло как обычно, как в любой другой осенний, зимний, весенний или летний вечер, ничего бы не случилось. Они бы не встретились. Видаль ни за что не пошел бы в Хаммерсмит-Пале. Ни за что бы, гонимый тревогой, не покинул дом непривычно большими шагами – и все бы осталось как было. Но события в семье выбили Видалью из накатанной колеи, его целеустремленность

взяла паузу, решила передохнуть, позволить ему заполнить возникшую пустоту. Если бы кому-то вздумалось описать характер и жизнь Видаля, последнее, что пришло бы в голову, – этот парень любит ходить на танцы. И этому предполагаемому биографу даже сама мысль назвать Видаля Коэнку легкомысленным или несобранным показалась бы смешной и нелепой. Но в эти последние месяцы 1928 года привычное течение жизни будто споткнулось: отец лежал при смерти.

Дежурство у постели умирающего стало ритуалом в семье Коэнка. Дежурила мать, ее сменяли братья и сестры, он сам – и в один прекрасный день почувствовал, что задыхается. Наверное, это и было главной причиной их маловероятной встречи. Если бы не обстановка в доме, ничто не могло бы погнать его на улицы, по которым он никогда не ходил, ничто не заставило бы его выбрать именно это время – только тревога и тоска, только растущая в душе пустыня, насквозь продуваемая мертвым ветром безнадежности.

Так и вышло, что он забрел на эти танцы, хотя танцевать не любил, да и умел-то едва-едва.

И в самом деле – бывают дни, когда человек, не зная почему, выбирает дорогу, хотя вполне мог бы выбрать другую. Что им движет – непонятно. Разочарование, тоска, ожидание неизбежного, пустота – кто знает? Да он и сам не мог бы сказать, какой душевный порыв заставил его переступить порог танцзала. Услышал звуки оркестра – и зашел. Рита все чаще думала, что именно из таких дней соткана жизнь – короткая,

окаймленная вечным сном жизнь. Вот так все и происходит: у человека в душе дуют холодные ветры, он курит сигарету за сигаретой, пытается унять изматывающую тревогу, попадает на танцплощадку – и встречает Риту. А она-то зачем пошла на эти танцы? В ее возрасте полагалось бы сидеть дома, варить обед и нянчить детей, но судьба и война распорядились по-иному: она оказалась *surplus girls*, одной из двух миллионов девушек, предназначенных убитым на войне мужчинам.

И причудливая комбинация случайностей привела к тому, что в холодный ноябрьский вечер эти двое встретились. Он, тридцатидевятилетний, сбежавший от постели умирающего отца, и она, унылая двадцатидевятилетняя служащая чайной бухгалтерии, смирившаяся с безнадежностью жизни. Что нашли они друг в друге? Не зря же говорят – жизнь причудлива, ничего предсказать нельзя. И они сами не раз смеялись: конечно же, нас свела идиотская английская орфография. Надо же, так изуродовать наши имена!

Он рассказывал о своих путешествиях, про море, про город своего детства, про тенистые платановые аллеи, про созревающие на солнце помидоры. Она – о своей работе, о соленых шуточках, которые отпускали девушки в курилке.

Как-то они сидели в чайной около ее конторы, держали под столом друг друга за руки, и он рассказал о необычном пассажире на поезде в Италии. Просто, но чисто одетый, собранный, с великолепным итальянским.

– Как он выглядел?

– Круглая голова. Небольшого роста, чуть больше метра шестидесяти. Но, должно быть, что-то в нем было, что сразу привлекло к нему внимание, несмотря на обычную, даже незначительную внешность. Люди начали перешептываться...

– Может, цвет глаз? – предположила Рита. – Знаешь, у некоторых южан бывают такие глаза – серо-зеленые. И кожа цвета высушенного табака.

Видадь внимательно посмотрел на нее, и она почему-то покраснела.

– Человек в итальянском поезде слышал, конечно, шепотки, не мог не заметить, как кондуктор, проверявший билеты, посмотрел на него – сначала удивленно, потом с восхищением, как отошел к напарнику и что-то прошептал ему на ухо. “Это он?” – спросил напарник довольно громко.

Рита и сейчас помнит искорки смеха в глазах Видаля. Глаза смеялись, и ей захотелось, чтобы они так и сидели, взявшись за руки под столом, и никогда их не расцепляли. Ни когда допьют чай, ни когда он закончит рассказ – никогда.

– Слух распространился, как огонь по бикфордову шнуру. Неужели это он? – спрашивали пассажиры друг друга и сами себе отвечали: да. Это *он*.

Рита вслушивалась в каждое слово.

– Любому понятно – конечно он, кто же еще? Кто забудет такой взгляд, эту чудовищную волю в каждом движении? – перешептывались пассажиры этого итальянского поезда. И

конечно, проводники из штанов выпрыгивали, чтобы ему угодить.

– Когда это было?

– Когда? Много раз. Не так уж часто, но все же много раз. Его тут же проводили в особое, отделанное красным деревом и бархатом купе, где уже лежал ящичек дорогих сигар. Принесли эспresso, хотя он ничего не заказывал. Старший кондуктор несколько раз бесшумно открывал дверь и спрашивал, не нуждается ли в чем-либо уважаемый пассажир. А машинист вдруг начал снижать скорость на крутых поворотах, чтобы поезд случайно не накренился.

– А этот человек? Он-то как на все это реагировал?

– Спокойно. Сидел. Читал газеты и пил кофе, хотя, конечно, понимал, что слух уже пошел. Он прекрасно понимал, что узран, но никак этого не показывал. И остальные понимали – инкогнито, без охраны, и тоже подыгрывали: *ему* надо убедиться, что в *его* Италии поезда ходят по расписанию.

– *Его* Италии?

– Разумеется. Никто из пассажиров не сомневался – человек, осчастлививший поезд своим присутствием, не кто иной, как иль дуче, сам Бенито Муссолини.

– Но...

– А на самом деле это был скупщик бриара, изготовитель курительных трубок, испанский еврей без гражданства, с корнями в Османской империи. На самом деле это был я.

Смеялись долго и никак не могли остановиться.

Прошло два месяца, и у Риты начала набухать грудь и прекратились месячные. Выйти замуж – единственный выход. Ей хотелось иметь мужа, детей, свой дом. Разве не в этом смысл любви? – спрашивала она Мейбл. Разумеется. Именно в этом.

Сестры фантазировали об ожидающем Риту будущем. С лиц не сходила улыбка – надо же! Жизнь непредсказуема. Чудеса время от времени случаются даже с такими незначительными женщинами, как они. Вместе выросли, вместе голодали, вместе работали, делили горе и радость. А теперь, когда время переломилось, когда новое будущее выплыло, как королевский замок из рассеявшегося тумана, появился еще один объект для дележа – надежда. Они сидели и обсуждали подвенечное платье, как организовать свадьбу, выбирали: немецкая кирха или обычная англиканская церковь. Перебирали знакомых детей, обсуждали, кто бы подошел на роль цветочных девочек¹³. И надо попросить Эрни поиграть на свадебном ужине.

Риту время от времени охватывал страх. Досадная тяжесть, обременяющая ее тело, скоро станет ребенком. Она и этот мужчина поменялись выдохами, поменялись буквами в имени, соединились, вернули свои имена – но значит ли это, что он обрадуется новости?

¹³ Девочки, несущие шлейф невесты.

Его волнение. Ее недоумение. Рита и Видадь пили чай в кафе, которое уже привыкли называть “наше”. Рита никак не могла истолковать выражение его лица. Она пришла с потрясающей новостью, вручила ему свое будущее – и не получила ответа. Видадь отвернулся и долго смотрел в запотевшее окно. Рита опустила голову. Руки сами по себе, помимо ее воли, сцепились в замок, словно ей необходимо было помолиться и увериться, что молитва найдет отклик. Она ожидала услышать все что угодно, только не молчание.

– Я тебя не оставляю, – выдавил Видадь.

И все. Преодолеть молчание невозможно, оно заполнило все кафе. Рита никогда и подумать не могла, что тишина может быть оглушительной – как взрыв. Остались одни осколки. Смех за соседним столиком прозвучал так, будто кто-то швырнул камень в окно.

Он внезапно поднялся, взял шляпу и ушел. Рита осталась сидеть. Услышала, как сработала пружина и дверь захлопнулась.

Вот и все.

Мужчины...

Она запомнила эти минуты на всю жизнь. Стены сдвигались все теснее. Она чувствовала себя как в колоде, будто ее собираются похоронить заживо. Вскочила, выбежала из “нашего” кафе и никогда больше там не появлялась. Обходила эту улицу стороной.

Рита осталась одна. Мейбл не могла разделить с ней катастрофу. Сестра была добра, внимательна, преданно помогала во всем, но пожизненный позор рос в животе у Риты, а не у Мейбл. Это не Мейбл, а Рите предстояло жить с незаконнорожденным. Это не Мейбл, а Рита попадала в разряд женщин, о которых говорят “ну... эти”. Никто не сдаст ей квартиру, а о работе можно даже не мечтать.

– И что остается? – тускло спросила она сестру.

Та промолчала. Работный дом¹⁴ – понятие постыдное, да и слово настолько ужасающее, что сестры не решались произнести его вслух. Есть еще приюты для бедных – но это такое унижение, что лучше умереть. Туда попадали те, кто потерял все. Бездомные и больные, отработавшие проститутки, брошенные невесты и изнасилованные. Пережидали беременность и рожали. Там, по крайней мере, их тайна терялась среди многих похожих тайн, стыд растворялся в стыде других. Оттуда ребенка возьмут на усыновление, или он будет расти в обществе других бастардов, детишек без прав на наследство и без надежды не только на будущее, но и на признание их существования. Там ее жизнь и кончится, она это знала. И Мейбл знала, и они плакали в два голоса на своем раскладном диване, в дешевой, но с *возможностью приготовления пищи* комнатке на Хайбери-Хилл, 26. Плакали ночами, и ночи эти были долгими, как десятилетия. Плакали, пока под самое утро не выбивались из сил и не засыпали на

¹⁴ Исправительное учреждение.

пару часов.

Oh, I do like *to be beside the seaside, I do like to be beside the sea*¹⁵.

Почему-то не выходит отвязаться от идиотского разухабистого мотивчика. Вращается в голове, как испорченная пластинка, и не хочет заканчиваться.

Вот так и бывает, пробормотала Рита себе под нос, шаря в кухонном шкафчике в поисках сигарет. Где-то точно была еще пачка... вот так и бывает. Тащишь за собой свою беду, как кандалы, как проклятие, – но движешься дальше и не можешь остановиться. Или не хочешь. А какие еще есть возможности? Из чего выбирать? Незамужняя двадцатидевятилетняя корова с раздутым животом и набухшей грудью – что ей делать со своим телом, с собой, со своим стыдом?

*For there's lots of girls beside, I should like to be beside, beside the seaside, beside the sea...*¹⁶

Лишняя девушка... Нет, теперь уже лишняя женщина, одна из двух миллионов незамужних. Но моя-то в чем вина? Разве я отправляла парней на фронт? Разве я хотела, чтобы их поубивали на войне? Разве я хотела видеть блуждающие взгляды и трясущиеся руки вернувшихся? Почему за их

¹⁵ “Я хотел бы быть у моря” – песенка, написанная в 1907 году Джоном Гловормом. Самым известным ее исполнителем был Марк Шеридан, звезда мюзик-холла.

¹⁶ Столько девушек повсюду, я хотел бы быть у моря, у самого моря, у самого моря... (англ.)

странное бормотание, за их костыли и протезы надо спрашивать с меня? Почему я должна быть наказана? Я могла бы выйти замуж и за одноногого, никаких предрассудков. Я не капризна.

Но вместо инвалида нашла себе тридцатидевятилетнего мужчину, прекрасно пахнущего, с оливковой кожей и зеленатыми глазами. Почему же она ни разу не спросила – как так получилось? Почему он, при таком дефиците мужчин, до сих пор не женат? Как так вышло? Почему у нее даже подозрения не закрались? Подошел как ни в чем не бывало на двух исправных ногах, с твердым взглядом, без всякой тряски, не заикаясь, – и так легко добился своего. Как она, разумная и практичная Рита Гертруда, могла это допустить?

Она повесила за окном мешочек с птичьим кормом, и теперь там мелькали стайки синиц и лазоревок, попадались даже снегири. Вспархивают, нервно поклевывают, косятся на окно блестящими глазками, похожими на прячущиеся в перьях черные жемчужины. А на тротуаре с притворным безразличием прогуливается кот. В любую секунду готовый к прыжку.

Видал? Наверняка посоветовался с братом. Легко представить, как они сидят в облаке табачного дыма, раздраженные и озабоченные. Рита слышит слова Мориса: *Она все это спланировала, нарочно забеременела, завлекла тебя в ловушку. Husband hunter. Во всем, конечно, только ее вина.*

Господи, ну никак не отвязаться от этой дурацкой песен-

ки.

Как же ты опростоволосился, сказал брат, и Видаль, конечно, согласился – да. Опростоволосился. Она же немка, мало того – христианка. *Эта женищина* никогда не будет членом нашей семьи, продолжил Морис. Да Видаль и сам это знал.

Ну нет. *Эту женищину* зовут Рита, возразил Видаль. Ее зовут не *эта женищина*, а Рита, и я ее люблю. А Морис, конечно же, так и продолжал называть ее *этой женищиной*. Видаль, возможно, даже заплакал, но Морис его утешил... Остается вопрос: почему он заплакал? Слезы стыда? Или вдруг осознал, что все кончено? Воссоединение с Ритой невозможно... Плакал о разбитой любви. А может, от стыда.

Рита представила мужчину, с которым она живет, и внезапно накатил волна нежности, открылось тайное убежище понимания. Нет, плакал он вот о чем: отныне он должен жить со своей тайной. Он совершил преступление против своей семьи, против сообщества, против неписаных законов. *Законов взаимоподдержки отторженных*. Накатила волна и тут же отхлынула. Горько усмехнулась – она же прекрасно понимает, как проходил разговор братьев. Не просто понимает – слышит, как взволнованно они тараторят на своем ладино¹⁷. Она знает, как важна для них семья. Семья, что бы ни происходило, на первом месте, спайка не может быть нарушена, граница не может быть перейдена. Они не оставляют свой

¹⁷ Язык сефардов, испанских евреев.

круг и не допускают чужих. Они никогда не примут ее как свою, уж это-то Рита понимала с самого начала. Никогда не согласятся, что она *good enough*¹⁸.

Морис, без сомнения, согласился поддержать брата, сохранить его тайну, скрыть стыд под маской благородства. Они держались заодно, братья Морис и Видадь. Они всегда держались заодно. Главное, о чем они беспокоились, – честь семьи. Как отнесется община, а самое главное – *именем Господа Бога на небесах* не проговориться матери, потому что та не простит никогда. Видадь рисковал изгнанием, а может, и проклятием, он остался бы в полном одиночестве – человек, которого следует избегать, плохая компания, изгой, при виде которого переходят на другую сторону улицы. Пострадают дела, дающие им средства к существованию, пострадает репутация.

Но Морис все же на стороне брата. Поклялся молчать. Братья держатся вместе, а что им еще делать? Изменилось настоящее, изменится будущее, но, как бы оно ни менялось, братья всегда плечом к плечу. *Aboltar cazal, aboltar mazal*, сказал Морис. Меняются декорации, меняется будущее. Меняются правила игры. Перевод примерно такой, объяснил Видадь.

Когда они встретились в следующий раз, их было четверо: Рита и бездна, Видадь и глухое, тягостное молчание.

¹⁸ Достаточно хороша (англ.).

Рита была главной хранительницей тайны – тайна скрывалась у нее в животе. Она сказала ему все, что могла. Теперь очередь за ним. Он должен обдумать свое решение и сказать ей, до чего додумался.

Get married, have children, settle down – эта идиотская формула звучала в ушах непрерывным рефреном, время от времени прерываясь голосом покойной матери. *Глупая девчонка... После всего, что я для тебя сделала, после всех моих предупреждений, после всех молитв, после такой борьбы*. Я знаю, знаю – хотела ответить Рита, но в бездонной пропасти, куда она свалилась, слова отсутствовали. Не было слов, не было взглядов, глаза и рот забиты непроглядным мраком. Мрак стекает в гортань, трудно дышать, она превратилась в постоянно растущий бурдюк стыда и тошноты. Барахталась в придонном иле и понимала, что выбраться не по силам.

Она даже не услышала, а увидела – губы Видаля шевелятся.

– Дом, – сказал он. – Я снял дом. В зеленой зоне, за городом. Ради ребенка. Ради тебя.

– Дом, – вяло, с трудом повторила Рита.

– Если хочешь, конечно.

– Мы там будем жить?

– Я приеду.

– Мы поженимся?

Он не ответил.

В Kearly & Tongues она отвечала за бухгалтерские книги и администрацию. Рита знала, что ее тщательность и спокойную добросовестность очень ценят, но такого не ждала. Все – и девушки, и шоферы, и парни со склада, и шеф, и его секретарша – собрали деньги и купили ей в подарок роскошный свадебный сервиз. Ты же теперь *миссис*, повторяли подруги. Она плакала, они растроганно улыбались. Спрашивали про свадебный ужин, о планах на медовый месяц – Рита отвечала односложно, громоздила вранье на вранье и прятала лицо в носовой платок: вроде как приступ неслыханного счастья лишал ее дара речи. Либо пыталась перевести разговор на другую тему. Тайна тяготила ее, а ложь была попросту невыносима – казалось, все видят ее насквозь. Шеф произнес прочувствованную речь. Конечно, будет непросто найти тебе замену, сказал он, ты замечательный администратор. Для нас большая потеря, но теперь ты нашла мистера Коэнку, а что может быть почетнее для женщины, чем быть администратором собственной семьи? Желаю счастья в новой жизни, желаю поскорее услышать топот маленьких ножек. “Дорогая Рита... или теперь надо говорить миссис Коэнка? – Он сделал паузу в ожидании одобрительного смеха, дождался и продолжил: – Дорогая миссис Коэнка, от всей души поздравляем и желаем счастья”. *Cheers!*¹⁹

И так она стояла, окруженная подругами по работе. Обычный монотонный рабочий день, но они... они же искренне за

¹⁹ За вас! (англ.)

нее рады! А может, и не за нее – просто от сознания, что мечты иногда сбываются, что в серую ткань жизни тайно вплетены золотые нити исполняющихся желаний, надо их только заметить.

Начали распаковывать картонные коробки, Рита даже не успела сосчитать, сколько их. Много. Бокалы – по шесть тюльпанов для портвейна и конических – для хереса, три сложенных одно в другое блюда для салата, шесть тарелок, шесть чашек, шесть блюдец, маленький молочник для сливок, большой для молока и, конечно, сахарница – всё из прозрачного стекла, особым образом отшлифованного и преломляющего свет, как призма. В их семье никогда не было столько стекла. Подарок оказался куда роскошнее, чем Рита ожидала. Она могла бы радоваться и гордиться, если бы не одно “но”. Всё, и бутылка недорогого, но мало чем отличающегося от шампанского игристого вина, и поздравительные речи, и подарок, и улыбки, – всё основано на лжи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.